

Мис Мария Метлицкая

– Рассказы разных лет –



Троцкая
гастроль

За чужими окнами

Мария Метлицкая
Прощальная гастроль

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Метлицкая М.

Прощальная гастроль / М. Метлицкая — «Эксмо», 2017 — (За чужими окнами)

ISBN 978-5-699-99058-0

«...Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими же соломенными «халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбочивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка. Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась...»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99058-0

© Метлицкая М., 2017
© Эксмо, 2017

Мария Метлицкая

Прощальная гастроль

Зоя ушла в понедельник рано утром, едва забрезжил рассвет. Апрельский день обещал быть теплым – уже в семь утра загорелось по-летнему яркое солнце и осветило комнату. Теперь ее комнату – раньше, до ее болезни, эта комната была их общей спальней. Семейной спальней – почти тридцать пять лет.

Когда Зоя окончательно слегла, Александр переехал в комнату сына, которую по привычке все еще называли «детская».

Переехать туда, в детскую, его попросила она.

Согласился он сразу и, кажется, с облегчением – совместные ночи были уже тягостны и безнравственны, что ли... Он не спал, она мучилась. Зачем? К тому же человеком Зоя была рациональным, без всяких лирических глупостей и обид – другая бы точно обиделась: сбежал от больной жены.

Но – не она. Конечно, он теперь выспался. Это было необходимо – предстоял обычный долгий и трудный день. И еще много долгих и трудных дней, похожих друг на друга, как бусинки одного размера, плотно посаженные на нитку.

Спустя три года в голове, как короткая молния, вспыхивала фраза, которой он невыносимо стыдился. Казалось бы, что было такого необычного в ней, в этой фразе? Обычная фраза, житейское дело: *«Когда-нибудь кончается все»*.

Кошмарная фраза, ужасная фраза. Невыносимая в своей правдивости и определенности. А в их случае – особенно. В случае, когда медленно, по миллиграмму, по миллиметру, по секунде уходит дорогой тебе человек. Кончается, иссыхает, словно из него испаряется жизнь.

Оправдывал себя тем, что Зоя отмучается. Да-да, именно она! При чем тут он? Он-то сладит, привыкнет. Честно говоря, к этой мысли он уже приновился.

Но, положа руку на сердце, он и сам чувствовал, как и из него уходят жизненные силы, словно пересыхает от густого и долгого зноя земля. Он тоже слабел. Усталость, возраст.

Но разве сравнишь? Ему, по крайней мере, было не больно.

Странно, думал он. Его жена всю жизнь была легким человеком. Наилегчайшим просто. Зоя ладила со всеми, он и припомнить не мог даже какой-нибудь мелкий бытовой конфликт. Даже с его родней – матерью и сестрицей – ухитрялась поддерживать дипломатические отношения. А уж характеры там были... Не приведи боже.

Однажды он слышал, как сестрица ехидно и едко сказала матери:

– А ты личной жизнью сына и невестки займись, поучаствуй! Им поуказывай, с ними поспорь! Оставь меня наконец в покое! Или хотя бы дай передохнуть!

Ответ матери его удивил еще больше, чем гневная и, наверное, справедливая речь сестры.

– А с ними неинтересно! – засмеялась мать. – Шурка вообще неконфликтный. А Зоя такая пресная и спокойная. О чем с ней спорить, к чему прицепиться?

Это, конечно, была шутка, матери вполне хватало участия в жизни дочери. Тем более что жизнь эта была бурная, непростая и действительно неудачливая. А у невестки и сына – размеренная и спокойная. Обычная счастливая семейная жизнь – ничего интересного.

Но Александр удивился и подумал, что это чистая правда! С его женой не то что поругаться было сложно – невозможно было даже поспорить.

Зоя не поддавалась на провокации, которые он, пребывая в плохом настроении, ей иногда устраивал.

«Удивительно легкий характер, – в очередной раз думал он. – Как же мне повезло».

И самое главное – Зоя ни разу не пожаловалась ему на его родню. А ведь могла бы! Ох, сколько бы женщин на ее месте сладостно бы копили, взращивали, удобряли и окучивали эти

обиды! Но – не она, его Зоя. Он удивлялся этому, восхищался и был безгранично ей за это благодарен. Все ее любили – соседи, коллеги, случайные знакомцы на курортах, женщины, рожавшие с ней «сто лет назад», тетеньки, лежавшие с ней в больницах.

Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими же соломенными «халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, миг, едва заметив Зою возле прилавка.

Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась:

– Ой, Зочка Иванна, вы!

Радовалась ей, как первой любви. Очередь замирала.

А «Зочка Иванна», ласково улыбнувшись, интересовалась делами крокодилицы: как старенькая мама, как сынок?

Очередь, громко и тревожно сглатывая слюну, с дрожью в ногах наблюдала за этой сценой. Не дай бог, что-нибудь пропустить! Вот, например, когда Зинка выльет черпак сметаны на голову этой смелой Зочке Иванне.

И никто и не замечал, что за этим душевным разговором крокодилица Зинка ловко заворачивала в хрустящий пергамент постную ветчину, серединку, не «попку», «Любительской», кусок «Швейцарского» – тонкая восковая корочка с одной стороны, а не с трех. И, воровато оглянувшись и наклонившись под прилавок, двигала ногой бидон со сметаной «для своих» – то есть не разбавленной молоком или, того хуже, водой.

Зоя Иванна благодарила крокодилицу и желала «всего самого-самого! Главное – здоровье, Зиночка! А все остальное – приложится!».

Зина молча кивала и, как замороженная, провожала «подругу» немигающими крокодильими глазами. Очередь молча следила за обеими. Наконец Зина приходила в себя, начинала злобно вращать глазами и открывала ярко-малиновый рот, полный золотых зубов. Очередь привычно вздрагивала и готовилась к бою. Начиналась *нормальная жизнь*.

* * *

Улыбка у Зои была замечательной – открытой, широкой, бесхитростной, доброжелательной, белоснежной. Когда она улыбалась, на щеках у нее появлялись очаровательные ямочки. От Зоиной улыбки, кстати, немного робкой и беззащитной, люди терялись, теплели, добрели, смущались и радовались. «Сильное оружие», – смеялся он.

Александр тоже очень любил эту улыбку, которая отражала всю Зоину суть – человеком она была милым, спокойным, доброжелательным и совершенно бесконфликтным. Не жена, а подарок небес. Дорогой подарок, он это отлично понимал. А уж когда оглядывался по сторонам... Эх, думал, бедные мужики! И как они справляются со своими Зинаидами и прочими крокодилами?

Мать его была человеком резким – всю жизнь считала себя правдолюбкой и очень этим гордилась. А кому нужна была ее правда, собственно говоря? Люди не хотят знать о себе правду, да и об окружающих зачастую тоже. А мать лепила правду-матку в глаза. Недобрый был у нее язык, ядовитый. «Ядовитый плющ», – смеялась сестра, тоже, кстати, далеко не ангел: острый язычок переняла от маман, плюс к этому добавился сварливый характер, вечные ко всем претензии, капризность и мнительность. Избалованная, она с трудом примирялась с действительностью. Тем самым, конечно, усложняя свою женскую судьбу.

В тот день, когда он привел домой Зою, объявив ее своей невестой, домашние уже заранее были «в настрое». Хихикали и шипели: «Ну можем себе представить, кого он приведет!»

А его тихая Зоя покорила их сразу – через какие-то полчаса они сидели друг напротив друга, увлеченные обычной женской трепотней, и, кажется, смотрели на нее почти с нежностью и любовью.

Первые три года жили у него, в квартире его родителей. Прекрасная, надо сказать, была квартира. Ах, как жалко было оттуда съезжать! Но он понимал: его молодой жене все дается не так-то легко. Да и хозяйкой побыть хочется – женщина.

И эти три года совместного проживания не были омрачены ни одним скандалом, ни одной взаимной обидой. Квартира на «Динамо». Туда, на «Динамо», его, трехлетнего Шурку Краснова, привезли из коммуналки на Цветном, у старого цирка. Он помнил огромные жестяные тазы в темной ванной с облупленной плиткой, кухонный чад, капустный кислый запах, к которому примешивались запахи подгорелой каши и молока. В Первوماй накрывали на общей кухне стол – точнее, сдвинутые столы, уставляли их разновеликими шаткими мисками и мисочками со всяческой снедью – от каждой хозяйки по способностям. Помнил пирожки с вязким и темным повидлом, липнувшим к зубам, их пекла, точнее, жарила в масле на огромной чугунной сковороде Паша-хромоножка. Глухонемая и добрая Паша, потерявшая в войну трех сыновей.

Помнил он и Риву Исааковну, фронтового хирурга, вдову, потерявшую на войне глаз, – затянутую в серый потертый халат, с клочковатой седой стрижкой, с вечной папироской в прокуренных и желтых зубах, сухую, с жилистыми, мужскими руками необычайной силы. Именно Рива открывала самые неоткрываемые банки и пробки, когда не справлялись мужчины. На кухне она бывала коротко – сварит овсянку, и к себе. К ней ходил *полюбовник*, как говорили старухи, еще фронтовой – полковник, симпатичный, довольно моложавый, семейный. Квартира удивлялась, что он ходит к Риве. К Риве-старухе. А Риве было тогда лет сорок пять.

Еще были Галушки – симпатичные, пухлые и одинаковые Галушки – мать, отец и три дочери, Ганка, Оленка и Сонька. В младшую, Соньку, он был влюблен еще с тех пор, когда они на пару сидели рядом на горшках в коридоре.

Галушки варили борщ – и ничего другого. Старый борщ кончался и начинался новый. «Та другому и не едят! – смеялась Галушка-мать. – Жрут три раза на дню, борщ, борщ, борщ! Ну и еще сало!»

Сало Галушка солила сама: приносила кусок жирной свинины, натирала солью и перцем, тыкала в мякоть, как семечки, острые дольки чеснока, заворачивала в чистую тряпицу и засовывала между рамами – доходить.

Иногда сало воровали. Галушка принималась горько плакать: «Зачем же воровати? Я шо, и так не дала б? Да шо у вас народ за такой, у вашей Москве?»

Галушек «пригнали» из Полтавы, где «все у них було» – «коровка, бычок, порося и хорошая белая хатка». А речка какая! Синяя вода, прозрачная – пили из нее! Солнышко доброе, люди добрые. А какие сады! Вишня цветет – как невеста! Поля, огород и простор – вольница! Мужа Галушку повысили «через партию», по словам его жены. Но кажется, это их радовало мало. «Тута, – Галушка принималась плакать, – тута у вас мрак и темно».

Свою комнату он помнил плохо – темные обои и вечное недовольство матери: «переклеить, переклеить!» А отец отнекивался: «Скоро дадут квартиру, Вера! К чему здесь разводить?» Мать раздражалась и, кажется, мужу не верила.

Но квартиру дали! На «Динамо», огромную, как им, особенно ему, казалось. Три комнаты, два балкона. А кухня какая! Но мать опять была недовольна: трогала стены, дергала рамы, терла на пальцах осыпавшуюся краску и хмурила лоб: «И вообще здесь выселки, до центра не добраться». Отец вздыхал и обижался. Любимая присказка: «Тебе, Вера, не угодишь!»

В этой квартире прошла его детская, юношеская жизнь, а потом еще пара лет и жизни зрелой и даже семейной.

Он помнил, как гонял на трехколесном велосипеде по коридору, а сестрица капризным голосом орала на него и жаловалась матери: «Мама! Этот попортит весь паркет!»

За него заступался отец: «Оставьте ребенка в покое!»

Но когда отец уходил, кататься ему не разрешали. Да он и не спрашивал, все понимал.

Недолго отец радовался новому жилью – умер через два года от инфаркта. Начались неприятности на работе – отец служил в Метрострое, на большой должности. Ну и сгорел, как говорила мать, сгорел на работе.

Александр помнил похороны отца: черный с малиновым гроб, крышка с какими-то рюшами, огромные венки с черными с золотом лентами и множество незнакомого народу, будто на демонстрации. Дверь в их квартиру была раскрыта настежь.

Народ тек, словно река, на долю минуты останавливаясь около матери, сидящей на стуле и укутанной в большую черную шаль.

На соседнем стуле сидела сестра, а он стоял рядом. Сестра крепко держала его за руку.

Еще он очень хотел есть и рвался на кухню, откуда шли разные запахи и где молча крутились незнакомые женщины в темных платьях и в маминых фартуках.

Но сестра цыкнула на него, когда он попытался вырвать руку, и глянула зло:

– Стой, я тебе говорю! Ты что, не понимаешь?

Нет, он понимал. Понимал, что отца больше нет и что в доме большое горе. Что плачет мама и плачет сестра. И все говорят какие-то слова утешения, от которых мама плачет еще сильнее, еще громче. Но есть очень хотелось, потому что завтраком его никто не покормил, не до этого было. И что он мог поделать? Да, только терпеть. На кладбище его не взяли – чему он был, честно говоря, несказанно рад.

В доме оставались мамины подруги. Они говорили шепотом, бесшумно двигались, без спросу открывали шкафы, доставали скатерти и «гостевую» посуду и совсем не обращали на него внимания, будто его и не было.

Тогда он сам проник в кухню и схватил там что-то с тарелки – кажется, это был кусок курицы. Рванул к себе в комнату и там, придерживая спиной дверь, проглотил ее в одно мгновение. Сердце сильно колотилось, и ему казалось, что он сделал что-то ужасное.

После смерти отца все стало плохо. Денег не хватало – мать, не работавшая несколько лет, устроилась в патентное бюро, но платили там мало, а запросы, по словам матери, остались большими.

При отце было все – продукты из «заказов» в шуршащей бумаге, от масла до черной икры. Машина с водителем. Большая зарплата. Ателье, куда не попадали «простые смертные, а только жены начальников». Именно там мать шила платья, блузки, пальто и даже шубу, черную блестящую шубу из каракуля, которой очень гордилась.

Сестра училась в седьмом классе. Он пошел в первый. Жили теперь скромно – мать умоляла его завтракать и обедать в школе – в их домашнем холодильнике было «более чем скромно». Пропала твердая колбаса, жестяные баночки с икрой, шоколадные конфеты и многое другое. Зато появились плавленые сырки, а он их любил больше, чем все остальное.

По отцу он почти не скучал, забыл его быстро – детская память коротка. Просто помнил, что *раньше* была совсем другая жизнь, – конечно, лучше, чем та, которая есть.

Зато теперь у него была своя комната. Не общая с сестрой, а своя – бывший кабинет отца.

К сестре, пока мать была на работе, приходили подружки. Они плотно закрывали дверь в ее комнату и о чем-то шептались. Ему было интересно, и он пытался подслушать. Но сестра, словно чувствуя это, резко открывала дверь, которая была его по лбу. Он показывал ей кулак, краснел от обиды и злости, прятался у себя.

Именно там, у сестры, он впервые и увидел Тасю. И эта любовь протянулась на долгие годы – с его раннего отрочества лет, наверное, до тридцати. Эта любовь украсила его жизнь, усложнила, перемешала и перепутала ее. Но он не пожалел об этом ни одной минуты.

* * *

Смутился он сразу, как только увидел ее. Тринадцатилетний паренек и почти взрослая девятнадцатилетняя студентка.

Ах, как же она была хороша! Плод воспаленного юношеского воображения в чистом виде – изящная, хрупкая, с непослушной копной волнистых пепельных волос, легкие прядки и локоны все время норовили вырваться на свободу, освободиться из-под гнета шпилек, из-под плена шапочки или платка.

Милый курносый, в редких и бледных веснушках нос, серые глаза в темных и густых ресницах. «Тася, Тася, – шептал он по ночам. – Я буду любить тебя всю жизнь! И ты будешь моей!»

Мальчишка, дурак...

Он постоянно караулил, когда она придет к сестре. Пропускал кружки и прогулки, сидел на кухне, затаив дыхание и поглядывая в окно: именно оттуда, из кухни, был прекрасный обзор.

Тася приходила часто – потом он узнал, что жизнь ее дома, в семье, была почти невыносимой: лежащая бабка со скверным характером и издерганная отцовскими изменами мать, папаша то уходил к новой жене, то появлялся дома, как в отпуск. А наивная и несчастная мать ждала его и надеялась, что этот отпуск будет последним.

У Красновых, в огромной и просторной квартире, где было не то чтобы шикарно, но все-таки сытно и вкусно – мать была кулинаркой отменной, – за чашкой чая с яблочным пирогом да за душевными кухонными разговорами Тася оттаивала душой. В этом доме ей было хорошо и спокойно. А маленького Шурку, смущенного, разглядывающего ее с широко раскрытыми и восторженными глазами, она просто не замечала. До поры не замечала. Но – до этой поры было еще далеко.

Она скидывала в прихожей свои короткие сапожки, старенькое пальто, оправляла перед зеркалом непослушные волосы, одергивала клетчатую юбочку и темный свитерок и только тогда, словно только заметив его, кивала.

– А, Шурка! Привет! – И тут же исчезала в недрах сестриной комнаты, прикрыв за собою дверь.

А он стоял в коридоре, уткнувшись носом в облезлый песцовый воротничок ее изношенного пальто. И снова отправлялся на кухню – девицы спустя полчаса непременно шли пить чай или кофе.

Сестра злилась:

– Шурка, иди к себе! Что это за новости – делать уроки на кухне?

А Тася ее останавливала:

– Людка, не злись! Ну, пусть посидит малец! Кому он мешает?

В груди бухало колоколом: «Малец», «Кому он мешает».

Он краснел, злился и в эту минуту почти ненавидел ее. «Ну, подожди! Я еще вырасту! И я тебе... Покажу!»

Шурка утыкался в тетрадь, а девицы, тут же позабыв о нем, продолжали щебетать, изредка поглядывая в его сторону – не слышит ли? Не прислушивается? А он делал равнодушный вид: «Да пошли вы со своими сплетнями! Знаю я вас, девиц». И смешно оттопыривал губу в знак презрения.

Иногда Тася оставалась у них ночевать. Однажды он столкнулся с ней с утра у туалета. Смутился страшно, до горящих бордовых ушей. А она, широко зевнув, в ночной рубашке и

босиком, растрепанная и чуть припухшая, равнодушно прошла мимо него – не смутившись ни капли, даже не запахнув наброшенный халат. Зевнула и слегка махнула рукой:

– А-а-а, Шурка! Привет.

Дверь в туалете защелкнулась, и он услышал, как через пару минут раздалось урчание сливного бачка.

Он был разочарован. И даже обескуражен. Она как все остальные? Так же ходит в туалет, чистит зубы, сплевывая порошок в раковину? Сморкается! Господи, вот это да. Ковыряет в носу? Нет, вот это совсем невозможно! Она же фея. Принцесса. Сказочный эльф. А эльфы в носу не ковыряют! Разве она простой человек, которому присущи все эти довольно гадкие моменты обычной, естественной, неприукрашенной жизни? Нет, нет! Такого не может быть! Все это не про нее. И думать забудь!

И он снова любил ее с прежней силой. Да нет – еще больше, еще сильней.

Боялся, зная характер сестрицы, – не дай бог, поссорятся, разбегутся! Людка – стерва отменная, как говорит даже мама. Сколько у нее было подруг? Вот именно! И где они, эти подруги? А здесь... Не дай бог! Тогда Тася исчезнет, исчезнет из его жизни навсегда. И тогда он... просто умрет.

Шурка подолгу рассматривал себя в зеркале – ничего хорошего, совсем ничего! На лбу горели прыщи, по-дурацки топорщились волосы. Нос казался огромным, просто один нос на лице. А руки... Он сжимал хилые бицепсы – дерьмо, а не бицепсы. Решил подкачать – записался в бассейн и на бокс.

Однажды они с Тасей оказались в квартире вдвоем: мать была на работе, сестра еще не вернулась из института.

– Людки нет? – удивилась Тася, причесываясь перед зеркалом.

Он мотнул головой.

– Не-а, еще не пришла. Может, чаю?

Голос срывался.

– Чаю? – задумалась Тася. – А сделай-ка мне, Шурка, бутерброд! Я страшно голодная!

Обрадовавшись, он кивнул и рванул на кухню. Открыл холодильник и увидел баночку красной икры, наверняка припрятанную матерью на праздник – через неделю были ноябрьские. Подумав минуту, схватил баночку, не думая о последствиях, точнее, ему было на них наплевать.

Вспорол ее и щедро и густо стал мазать на хлеб. Тася вошла на кухню, увидела бутерброды и удивилась:

– Ух ты! Ничего себе, а? А нам не влетит?

Он небрежно отмахнулся:

– Да ладно, подумаешь! Купим еще!

Громко сглотнув слюну, Тася принялась жадно есть. Минут через сорок появилась сестра. К тому времени бутерброды были съедены, а ополовиненная баночка припрятана в самый дальний угол холодильника – в овощной ящик.

Преступление было обнаружено дня через два, когда мать взялась варить борщ и полезла за свеклой. Крик стоял... Хорошо, сестрицы не было дома – тогда бы ему досталось вдвойне! Но пережили. Взял все на себя.

– Мам, так захотелось! Просто сдержаться не мог, ты уж прости. А остальное вам с Людкой! А я больше ни-ни!

На праздник мать отварила яйца и положила в них остатки икры – укладывала ложечкой и вздыхала. Но больше не сказала ни слова и ничего не рассказала дочери. Кажется, она тоже боялась Людкиного гнева.

Шурка понимал: открываться в своих чувствах ему еще рано. Вот лет в шестнадцать-семнадцать, когда наконец он подкачает руки – уже сейчас заметно, кстати! И когда пройдут эти дурацкие прыщи. Пройдут ведь когда-нибудь!

А однажды услышал, как мать и сестрица шептались на кухне. Замер в коридоре, неслышно притормозив, – это было давно отработано.

– Сама виновата! – настаивала сестра. – Нет, ты мне ответь, ее что, кто-то неволит? Добровольно ведь! Идет на костер добровольно!

– Да что ты понимаешь! – грустно ответила мать. – Не всегда можно справиться с чувствами. Не всегда, Люда! Это ужасно, да. Но это и счастье великое – такое испытать, понимаешь?

Сестра опять возмутилась:

– Мама, о чем ты? Какое же счастье? Там горе одно! И никакой пер-спе-кти-вы! – по слогам проговорила она. – Никакой, понимаешь? Двое детей и карьера! А он карьерист, ты мне поверь! Не из тех, кто сломя голову и в омут, ты понимаешь? А она будет страдать. И, кстати, после этого аборта, да еще и с такими осложнениями неизвестно, родит ли она вообще. И что на выходе? Ему одни удовольствия, а ей – одно горе! Да и вообще, мне, мам, кажется, что он отменная сволочь.

«Карьерист. Двое детей. Жена. Неудачный аборт. Родит ли вообще. Отменная сволочь» – эти слова вертели у него в голове. Получается, что это все – о его Тасе?

Она влюблена. Нет, не так. Она сгорает от любви к женатому человеку, у которого двое детей и карьера. И еще... Она, его Тася, сделала аборт. Неудачный аборт от того мужика. Господи, слава богу, она жива! Он где-то слышал – от *этого* умирают. А, да! Их соседка по старой квартире – Лиза, кажется? Вот тогда все шептались: «Лизка умерла от аборта».

– Господи боже! – приговаривала тетя Паша. – Спаси и сохрани!

Тася пришла к ним спустя неделю после подслушанного Шуркой разговора. Он, принимая ее пальтишко, боялся поднять глаза.

Тася сразу прошла в Людкину комнату, на этот раз не задержавшись у зеркала.

Мельком – а он глянул на нее именно мельком – заметил, что она очень бледна. И еще, что ее пушистые и блестящие волосы как-то сникли, потускнели, пожухли, словно увяли.

И из Людкиной комнаты в этот день не раздался ни один, даже самый скудный смешок. Слышались только шепот и плач.

* * *

В Людкиной жизни тоже бурлило. Шурка улавливал какие-то секретные сведения по обрывкам ее разговоров с матерью. У сестры тоже случилась любовь, и как-то эта любовь наконец обнаружилась. Его звали Витольд – рослый красавец под два метра, спортсмен и плеббой. Он и стал Людкиным первым мужем. Сестра смотрела на него во все глаза, по словам матери – ему в рот.

Витольд был туповатым и нагловатым. Себе он при этом казался крайне остроумным – травил дурацкие и пошлые анекдоты, заливаясь тонким, «женским» скрипучим смешком.

Людка, конечно, все понимала и его стеснялась. А мать страдала. И, кажется, ненавидела зятя, все время шептала сестре, что он их объедает. Ел он и вправду ужасно много – казалось, что чувство насыщения ему незнакомо. А после обеда или ужина мог и рыгнуть. «Удав», – с возмущением говорила мать.

– Ах, простите! Пардон! – юродствовал он, видя опрокинутое лицо жены и брезгливую гримасу тещи. – Пардон, говорю! Так вышло! Все ж мы люди, человеки, – хохотал он.

Людка молча вставала из-за стола и принималась греметь посудой. А мать уходила к себе.

– Вот точно не человек, а свинья, – бурмотала она, – и еще – редкостный хам.

Шурка на своего шурина внимания не обращал – есть человек, нет. Не уважал его, это и понятно. Так, пыль под ногами, таракан, букашка – не больше.

Тася в то время заходила к ним редко – ссылалась на больную бабу, которая все еще жила и продолжала портить и без того кошмарную жизнь.

Года через два Людка, слава богу, выгнала этого Витольтда. Мать, конечно, в стороне не осталась.

После Людкиного развода Тася опять стала часто у них бывать, чему Шурка, естественно, был несказанно, просто по-сумасшедшему, рад. Казалось, Тася немного отошла от своего горя. Но настроение у нее было по-прежнему неважное и неровное. То она смеялась, то вдруг начинала грустить. Что происходило в ее жизни? Знать он не мог, а спрашивать у сестры было неловко. Да и после развода Людка, по словам матери, словно взбесилась окончательно, постоянно попрекая мать в том, что та во всем виновата.

Позже, думая о Людкиной судьбе, Александр стал понимать, что доля правды в этом была: мать всегда принимала самое непосредственное участие в жизни дочери.

Вообще, отношения у них были странные, то они ругались до крика и взаимных оскорблений, то принимались страстно, словно пылкие любовники, мириться – с громкими слезами, жалостью друг к другу, с мольбами о прощении и бурными объятиями.

Со временем он возмужал, появились и бицепсы, и трицепсы – старания не прошли даром. Исчезли прыщи и вся эта нелепая подростковая атрибуция. Даже нос, его крупный, отцовский нос, как-то ловко и ладно встал на свое место.

Он видел, что стал не только вполне нормальным, но и даже симпатичным. Ей-богу! Даже сестрица, тоже ядовитый плющ, однажды, задержавшись на нем взглядом, с удивлением сказала:

– Надо же! А Шурка наш стал вполне себе ничего! Прямо мужик из него вылупляется. Ох, скоро девок будем гонять, а, мам?

«Какие там девки!» – подумал он тогда. Хотя замечал, если честно, что девицы стали и впрямь на него заглядываться. Только не нужны были они ему, все эти девицы. Он по-прежнему любил Тасю. Нет, не по-прежнему – еще сильнее.

Теперь Тася появлялась у них совсем редко – студенчество кончилось, их с Людмилой пути разошлись – все понятно, наступила другая жизнь. Но созванивались они все еще регулярно. Людмила тут же скрывалась в своей комнате, с трудом протаскивая телефонный шнур под дверь.

– Не хочу, чтобы мать слышала! – шептала она подруге.

Смешно! Как будто она что-то скрывала от матери, точнее – пыталась скрыть. Ну а если и пыталась, то не больше, чем на пару дней – тайны Людмила хранить не умела, да и их отношения с матерью этого и не предполагали – они не могли жить друг без друга, дышать. Тухли без скандалов, без взаимных предъявлений претензий и обид. Не могли жить без своих страстных и громких примирений, не могли долго таиться друг от друга. Они остро нуждались друг в друге. Однажды, когда начался очередной скандал, Людмила бросила матери в лицо:

– Лучше бы ты *тогда* устроила свою жизнь! Может быть, и меня наконец оставила в покое!

«Тогда? – вздрогнул Александр. – А разве вообще было когда-нибудь после смерти отца это «тогда»? Или я что-то пропустил? Пропустил из-за того, что меня всегда, уже целую кучу лет, волновала только Тася?»

Но у сестры все же спросил, что та имела в виду.

Людмила раздраженно ответила:

– Да ничего примечательного! Алексей Алексеич к ней сватался через два года после смерти отца.

Александр помнил этого Алексея Алексеевича – заместитель отца, хороший и крепкий мужик, кажется, вдовец без детей.

– А что мать? – осторожно спросил он, боясь почему-то услышать правду.

– Да ничего! Ты что, нашу мать не знаешь? Послала его далеко и надолго. Вот и все. А ведь мужик он был неплохой. Жила бы себе и радовалась. По крайней мере, меня бы освободила от своей тирании. Может, тогда бы и у меня что-нибудь вышло.

«Вряд ли, – подумал он. – У Людмилы поразительная, уникальная способность вляпываться в очередное дерьмо. Закон граблей с ней не работал. Может, такая судьба?»

Сестрица без конца выходила замуж – один мужчина сменял другого. В основном это были гражданские браки, но случилось и три законно зарегистрированных. Людмиле были важны все атрибуты – поход в загс, покупка очередного свадебного платья, замысловатая прическа, свадебное путешествие – вот уж совсем смешно! Именно так она обозначала эти поездки: «Мы едем в свадебное путешествие». Ну и, разумеется, пир в ресторане! Ресторан снимался известный и знаменитый – не только своей кухней, но и бешеными ценами. Главное, чтобы был пафос: бархатные гардины, накрахмаленные скатерти, хрустальные фужеры и важный, напыщенный, как индюк, метрдотель.

И, конечно, оркестр. Тоже атрибут важного и пышного события. Такая вот, последняя свадьба состоялась у нее после сорока. Ах, как Людмила была смешна с пышным начесом, в бесконечных рюшах, в белоснежных туфлях на немыслимой и неустойчивой шпильке. Грохнулась на парадной мраморной лестнице в «Праге» – и стыдно и смешно.

Конечно, каждый раз она наивно надеялась, что вот это уж точно в последний раз! И, потерпев очередной крах, пережив кратковременную депрессию, снова устремлялась к счастью. Наверное, это было нормально. Детей Людмила не родила – боялась или чувствовала, что на этот раз опять ненадежно? Кто знает.

Александр все видел и понимал – мать, что называется, руку к этому делу прикладывала. Ситуацию она чувствовала всегда превосходно, и у нее были свои методы, свои способы влияния. Например:

– Люда, обрати внимание, как он отвратительно ест. Нет, ей-богу! Я не могу сидеть рядом. Если не возражаешь, я буду обедать одна. А сколько он ест! Ему надо срочно провериться на глисты!

– Какие глисты, мама? Ты совсем обалдела! – принималась возмущаться сестра. Но через какое-то время задумывалась.

Питаться отдельно? Тоже несусветная чушь!

Сестра, разумеется, возражала:

– Как это так? Мы же семья!

Но цель была достигнута – она принималась обращать внимание на то, как ее супруг ест. А действительно, мама права! Причавкивает, крошит хлеб, хлюпает, стучит ложкой по стенке стакана. И ковыряет спичкой в зубах! Ах да! Еще и цыкает после еды. И правда невыносимо. Теперь аппетит был безнадежно испорчен. Да и настроение тоже. И отношение к мужу постепенно менялось – мужлан, деревенщина, хам. После нескольких замечаний начинался скандал, и в один прекрасный день этот мужлан и деревенщина собирал чемодан и хлопал входной дверью.

Людмила принималась рыдать. Мать искренне удивлялась:

– Ты по кому плачешь, детка? Я искренне не понимаю! Лично мне кажется, что ты освободилась от страшной обузы! Ведь с ним даже в свет не выйти – сплошной позор!

Свет. Какой там свет, боже мой! Редкие походы в кинотеатр, еще реже – в театр. И несколько раз в год поход в гости, в основном к престарелой родне.

Следующий вариант отваживания очередного мужа выглядел так:

– Люда, а что, *этот твой* совсем не читает? – Спрашивалось это так, между делом. – Даже газет? Вот странно! Меня это так удивляет. Я такого не видела! И телевизор не смотрит! Ему что, совсем ничего не интересно? И что у него в голове? Один футбол?

Людмила снова спорила и снова начинала «прислушиваться». И вправду ничего не читает! И даже новости ему не интересны! Все же мужики интересуются событиями в мире, а этот приходит с работы, поест и – в кровать. Выходит, что мама права? Опять мама права? И она начинала мужа экзаменовывать и при этом без конца интересоваться: «А тебе что, это неинтересно? Тебе вообще ничего не интересно? Ты вообще живешь для чего? Спать и есть?» Муж орал во весь голос: «Не нравится? Такая образованная, да? Ну и ищи себе ученого! А я останусь таким, какой есть!» Прощальный аккорд.

– По кому плачешь? – презрительно хмыкала мать. – По этому тупому ничтожеству? – И саркастический смех.

Какой-то муж был «жаден до невозможности, как с таким жить?».

Тут же ему была выдана кличка Гобсек. «Как твой Гобсек? Поел? Где твой Гобсек? А, на работе? Ты собралась в отпуск с этим Гобсеком? Интересно! Ха-ха! Тогда копи на мороженое – он тебе точно не выдаст!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.